

3

Запад и Россия: концепт неполноценности в романе «Подросток»¹

«Мы сделались европейцами под непременным условием неуважения к самому себе».

Подготовительные материалы к «Подростку» (16: 168).

Роман «Подросток» многие относят не к самым сильным произведениям Достоевского, считая его деформированным продуктом «смутного» периода между написанием «Бесов» и «Братьев Карамазовых». «“Подросток” <...> значительно слабее основных романов Достоевского. Это мешанина из старых тем, приемов и психологии»². Эта точка зрения могла бы быть дополнена любым количеством аналогичных утверждений, и автор данной статьи не ставил перед собой цели оспаривать укоренившееся критическое отношение к роману.

Очевидные дефекты романа – лихорадочный, неорганизованный ритм и запутанная, «неправдоподобная» структура – показывают болезненное состояние ума Достоевского в момент написания «Подростка». Эмоциональные высказывания в защиту «записок» подростка, которыми начинается и завершается произведение, одновременно являются и признанием бесформенности, и вызовом тем, кто игнорирует трудности автора в попытке понять злобность и дерзость неполноценности. Ибо «Подросток» – роман, выразивший чувство неполноценности: автора, главного ге-

роя – и России. Роман был начат в особенно тревожный и неопределенный период в конце творческой карьеры Достоевского: завершив «Бесов» в конце 1872 года, он посвятил следующий год редактированию газеты князя Владимира Мещерского «Гражданин»³. Несмотря на все трудности редакторской работы, этот период имел большое значение для развития и экспозиции наиболее фундаментальных интересов писателя, среди которых дестабилизация современного российского общества и характер русского юноши – как показано в его статье «Одна из современных фальшней» (10 декабря 1873 г.). Кроме того, Достоевский давал своим читателям в газете расширенный комментарий текущих событий в Западной Европе («Иностранные события») – между сентябрем 1873 и январем 1874 года. Последняя публикация представляет особый интерес в связи с изложением точки зрения Достоевского на российско-европейские отношения. Отметив успехи России в кампании против хивинского ханства и «удивление» Европы подобным ходом событий, Достоевский замечает: «Россия не боится, чтоб ее все более и более узнавали в Европе; напротив, желает того. Правда, Европа до сих пор никогда не верила в этом отношении России. Вся политическая жизнь России, в продолжение всего, может быть, девятнадцатого столетия, в сущности была лишь жертвою ее Европе чуть не всеми своими интересами. И что же в результате? Поверила ли хоть раз Европа политическому бескорыстию России и не подозревала ли ее почти всегда в самых коварных намерениях против европейской цивилизации?» (21: 242).

Раздраженный, обиженный тон этого пассажа напоминает тоталитаристскую риторику XX столетия, но более подходящая аналогия взглядам Достоевского (на самом деле, вероятный их источник) может быть обнаружена в работе «Россия и Европа» Николая Данилевского, впервые опубликованной в журнале «Заря» в течение 1869 года и переизданной отдельной книгой в 1871 году. Взгляд Данилевского на неизбежный, апокалиптический конфликт между Россией и Западом, несомненно, был известен Достоевскому: в начале второй главы «Почему Европа враждебна России?» автор книги утверждает, что Европа не только не испытывала благодарности к России за ее услуги (в войне против Наполеона, например), но также была последовательно и беспричинно подозрительна относительно российских geopolитических амбиций⁴.

Сходство очевидно, есть и другие точки соприкосновения: российское мессианство, славянское братство, тяготение к Константинополю.

Как бы то ни было, но интригующим попыткам Достоевского и Данилевского объяснить российскую территориальную экспанию, националистическому негодованию на сомневающихся в законной судьбе России противостоит в «Подростке» другой взгляд на предстоящий апокалипсис в Европе. Этот апокалипсис должен привести не к триумфу русского мессианства, а к уничтожению всех культурных ценностей. Беспокойство Достоевского о сумерках цивилизации заметно в его первых набросках к «Подростку». Среди ссылок на «Гамлета-христианина», «хищный тип» (будущий Версилов) и роман о детях, он отмечает: «Фантастическая поэма-роман: будущее общество, коммуна, восстание в Париже, победа, 200 миллионов голов, страшные язвы, разврат, истребление искусств, библиотек, замученный ребенок» (16: 5). Эволюция от этих записей в начале 1874 года до решения автора в июле того же года, что подросток, Аркадий Долгорукий, будет героем романа (а не «ОН», хищный тип, Версилов), была исследована kommentаторами академического собрания сочинений Достоевского. Несмотря на перемены в творческой истории романа, чувства тревоги из-за общеевропейского пожара, выраженные в выпусках «Иностранных событий» (упомянутых выше), остались с писателем во все время работы над романом; и мы будем доказывать, что сдвиг в форме повествования к подростку – сыну Версилова – предоставляет Достоевскому перспективу, с которой он может исследовать не только отношения между отцом и сыном, но также – в метафорическом смысле – между Европой и Россией.

Параллель, или метафора, отнюдь не жесткая: неполноценность, негодование и вызов власти действуют в «Подростке» на многих уровнях. Предуведомление повествователя о мотивах его отчета об известных событиях предшествующего года – перл апологии и самооправдания, весьма напоминающий пародию на защиту Достоевским в это же время своей литературной работы от тех, например, кто более высоко ценил творчество Толстого (см. 16: 329–330). Простодушие Аркадия прямо-таки обезоруживает: «Я гораздо умнее написанного» (13: 6). Подобно герою из подполья, подросток обязуется писать только для себя, оставаясь вне критики.

Даже свойства русского языка привлечены, чтобы предупредить критику: «Замечу тоже, что, кажется, ни на одном европейском языке не пишется так трудно, как на русском». Россия представляется ущербной даже в своем способе изъяснения. При такой озабоченности правдивостью и адекватностью высказывания естественно, что повествование подростка заключают не его слова, но одобрительные комментарии более мудрого, старого человека (Николая Семеновича, наставника Аркадия во время его учебы в Москве), через которого Достоевский отстаивает законность своей работы и парирует скрытые обвинения в бесформенности⁵. В тонко завуалированной полемике с представлением Толстого о сплоченной дворянской семье «рупор» Достоевского хвалит подростка за его изображение «случайного семейства», символического осколка российского общества: «Признаюсь, не желал бы я быть романистом героя из случайного семейства! Работа неблагодарная и без красивых форм. <...> Но такие «Записки», как ваши, могли бы, кажется мне, послужить материалом для будущего художественного произведения, для будущей картины – беспорядочной, но уже прошедшей эпохи» (13: 455).

Этот пассаж может быть прочитан как свидетельство страха автора перед собственной небрежностью – страха, хорошо документированного в записях Достоевского этого периода; но было бы неверно полагать, что Достоевский заменил заботу о будущем России заботой о собственной репутации. Для Достоевского и для его утешающего комментатора на заключительных страницах важным моментом является само повествование, чья катарсическая ценность способствует формированию личности юноши, ибо рассказыванием преодолевается его негодование и изоляция от окружающего мира. Как отмечает Жан Ипполит в своих комментариях по поводу использования Гегелем термина «отчуждение» (*Entäusserung*) в «Феноменологии духа»: «Mais les deux termes de culture et d'alienation ont une signification très proche l'en de l'autre. C'est par l'alienation de son être naturel que l'individu se détermine, se cultive et se forme à l'essentielle. D'une façon plus précise on peut dire que pour Hegel la culture de Soi n'est concevable que par la médiation de l'alienation ou de l'extranéation [Entfremdung]. Se cultiver ce n'est pas se développer harmonieusement comme par une croissance organique, c'est s'opposer à soi-même, se retrouver à

travers un déchirement et une séparation»⁶. Достоевский создал Bildungsroman в гегелевском смысле (Bildung = культура, образование) и сообщил об этом через персонажа, для которого акт писания является процессом самообразования (Аркадий использует термин «перевоспитать»). Как говорит ему его комментатор: «Твердо верю, что сим изложением вы действительно могли во многом «перевоспитать себя», как выразились сами» (13: 452). В своем перевоспитании Аркадий избавился от своей «идеи» Ротшильда, идеи власти через богатство, которая могла бы быть использована как инструмент мести обществу, поставившему его в положение неполноценности. Возвращаясь к Ипполиту: «Le langage est en effet la seule alienation spirituelle du Moi qui donne une solution au problème que nous sommes posé... Le Moi qui s'exprime est appris <это так и по мнению «комментатора» у Достоевского. – У. Б.>; il devient une contagion universelle dans sa disparition même»⁷.

Но преодоление терзаний Аркадия (надрыва, в терминах Достоевского, *dechirement* – Ипполита) – не единственное достоинство, отмечаемое Николаем Семеновичем в его комментарии. В заключение он подтверждает ценность этих записок для будущих генераций, которые пожелают понять это «смутное время» и это беспокойное поколение. В данном выводе Достоевский ясно выразил свою собственную веру в будущее российской молодежи. Понятие материала для будущего, многообещающее заявленное здесь, странно перекликается с более ранним пассажем из третьей главы, содержащим наиболее острое, до нигилизма, выражение русской неполноценности в творчестве Достоевского: «Он вывел, что русский народ есть народ второстепенный <...>, которому предназначено послужить лишь материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества. Ввиду этого <...> господин Крафт пришел к заключению, что всякая дальнейшая деятельность всякого русского человека должна быть этой идеей парализована...» (13: 44).

Носитель этих взглядов, некий Крафт, чьи исторические и интеллектуальные прототипы были тщательно исследованы советскими учеными (см. 17: 366, 374–375), никогда в действительности не выражает их в романе. Скорее, они излагаются его интеллектуальными эпигонами, членами радикальной дискуссионной группы,

прототипически восходящей к долгушинскому кружку, чей революционный популизм привел к арестам в 1873 году⁸. Позиция Крафта неправильно понята или вульгаризирована кружковцами, за исключением некоего Васина, который намекает, что Крафт вышел за пределы логики в область «идеи-чувства» (ср. противоположение Максом Шелером эмоционального сознания интеллектуальному сознанию). Достоевский тем самым защищал идею Крафта, показывая, как легко она может быть неверно понята теми, кто заключает ее в контекст политических банальностей (один персонаж утверждает, что русские способны служить полезной цели в развитии человечества даже как второстепенный народ). Достоевский оставляет радикальную группу Дергачева/Долгушина после этой сцены, и значение группы в конечной версии романа существенно снижено по сравнению с тем, что намечалось в период черновой работы. При этом значение идеи-чувства Крафта сохраняется и охотно принимается Аркадием применительно к его собственному образу мысли. При посредничестве Васина Аркадий встречается с Крафтом, и тот развивает свою идею, уточняет характер своего отношения к России. Он определяет современность как век, в котором восторжествовала посредственность и моральные идеи полностью отсутствуют. Резкими словами, напоминающими декламацию Астрова в «Дяде Ване», он говорит: «Нынче безлесят Россию, истощают в ней почву, обращают в степь и приготовляют ее для калмыков. Явись человек с надеждой и посади дерево – все засмеются: «Разве ты до него доживешь?» С другой стороны, желающие добра толкуют о том, что будет через тысячу лет. Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России...» (13: 54).

Когда Аркадий замечает, что напрасна надежда на то, что произойдет через тысячу лет, и напоминает Крафту о его «отчаянии... про участь России», последний с раздражением признает, что это – «самый насущный вопрос», который в его случае решается самоубийством.

Этот комплекс идей едва ли нов для творчества Достоевского: в «Бесах» Шатов говорит Ставрогину об «этнографическом материале» и о характере «великого народа». Великий народ должен верить, что истина, необходимая для спасения мира, заключена в нем одном, ибо в противном случае этот народ может считаться только

этнографическим материалом. «Истинно великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ» (10: 200). Это шараханье от неполноценности к неоспоримому превосходству в национальном самосознании – характерный аспект мышления Достоевского: даже учитывая его «диалогизм», едва ли можно сомневаться, что писатель часто присоединяется к экстремистскому национализму, подобному тому, что выражен Данилевским в «России и Европе». В четвертой главе этой работы Данилевский утверждает: «...или положительная деятельность самобытного культурно-исторического типа, или разрушительная деятельность так называемых бичей Божьих, предающих смерти дряхлые (томящиеся в агонии) цивилизации, или служение чужим целям в качестве этнографического материала – вот три роли, которые могут выпасть на долю народа»⁹.

Подобно Данилевскому, Достоевский верил в историческую миссию славянства, и оба ждали войны, которая должна освятить эту миссию и продемонстрировать моральное превосходство России над технологической, материальной мощью Запада. Наконец, подобно Данилевскому, идеологи Достоевского – Шатов и Крафт – бескомпромиссны: ощущение превосходства необходимо для выживания нации. В противном случае она годится только для «этнографического материала». Были, однако, и различия между Достоевским и Данилевским в интерпретации роли России. В письме к Николаю Страхову (март 1869 г.) Достоевский пишет: «...я все еще не уверен, что Данилевский укажет в полной силе окончательную сущность русского призвания, которая состоит в разоблачении перед миром русского Христа, миру неведомого и которого начало заключается в нашем родном православии. По-моему, в этом вся сущность нашего будущего цивилизаторства и воскрешения хотя бы всей Европы» (29: 130). Вместе с тем даже по этому, наиболее фундаментальному пункту русского мессианства Достоевский выражал свои сомнения в рабочих материалах к «Подростку»: «Версилов о неминуемости коммунизма» (16: 360). Коммунизм, согласно этому пассажу, воцарится на земле в соответствии с определенными неизменными законами и в противоположность небесному царству Божию. «И однако же, высшим благом было бы, ес-

ли б Россия поняла коммунизм Европы, тогда бы поняла в то же время, как далека от него». России суждено осуществлять чуждую идею, неполно понятую и импортированную из Европы. Такие ссылки на коммунизм, европеизацию и утрату корней в постпетровской России в конечной версии романа приглушаются. Версилов становится поборником универсальности России и принятия ею европейской культуры (см. часть III, глава 7, версиловское видение золотого века – рая на земле без Бога). В пространном рассуждении, которое служит контрапунктом к суждениям Крафта о России, Версилов идентифицирует себя как члена группы избранных, из одной тысячи, лучших представителей русского дворянства, чья культура была построена усилием «всей России». Как один из избранных «носителей идей», Версилов покидает свою страну, как прежде – жену и сына, Аркадия, для того, чтобы стать идеальным европейским гражданином: «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более!» (13: 377). Вскоре после этого Версилов говорит словами Достоевского-журналиста: «...Согласись, мой друг, знаменательный факт, что вот уже почти столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы!» Но, приняв европейский культурный идеал, Версилов вынужден наблюдать его крушение, приближенное бессмысличным разрушением во времена Парижской коммуны (март – май 1871 г.) и символизируемое версиловским видением заходящего солнца («последний день Европы»).

Вместе взятые, Крафт и Версилов иллюстрируют неоднозначность взгляда Достоевского на Европу и ее нынешнее состояние. Версилов, продукт инертной массы (этнографического материала), дворянин, отчужденный от своей страны, неангажированный носитель идей, является подтверждением каждого пункта иеремиады Крафта. И хотя Достоевский, возможно, выразил собственные мысли через версиловское благоговение перед европейской культурой и свою веру в то, что Россия, и только Россия, предназначена примирить Европу, взорванную социальными раздорами, все же противоречие между космополитическим идеалом и националистическим императивом слишком велико, чтобы его разрешить (Достоевскому), или вынести (Версилову). Даже Аркадий, который восторженно принимает благородные сантименты Версилова о всемирном

гражданстве, считает идею примирения нонсенсом (13: 388). Кульминация напряженности между этими двумя непримиримыми принципами разрешается типичным для Достоевского образом: сценой скандала, которая вскрывает раздвоение личности Версилова. Взяв икону, которая была завещана ему блаженным Макаром Долгоруким (законным мужем Софьи, матери Аркадия), Версилов пытается описать Софье чувство раздвоения или разделения внутри него и вдруг разбивает икону на две части – действие, которое он сам называет «аллегорическим» (13: 409). Оскверня образ, бесценный для набожной женщины, которая любит его, Версилов разряжает напряженность своей разрушительной страсти к Катерине Николаевне, роковой женщине, чьи прелести противопоставлены преданности Софьи.

Версилов вместе с тем разрушает один из самых священных символов допетровской России – икону – с ее коннотациями национальной веры, русского единства в лоне Православной Церкви. В романе икона как объект поклонения замещается фотографией – этим западным изобретением, чье бездушие, казалось, убило само понятие духовности в искусстве. Эта подмена проявляется на комично-абсурдном уровне, когда старый князь Сокольский, в своем старческом слабоумии, шепчет Аркадию о порнографических фотографиях обнаженных женщин, показанных ему его хозяином-похитителем, а затем просит Аркадия найти фотографический портрет Катерины Николаевны, над которым он плачет и восклицает: «*C'est un ange, c'est un ange du ciel!*» («Это ангел, ангел небесный!») (13: 431).

Более глубокий пример новой, секуляризированной, механической иконографии вскрывается в версиловском поклонении фотографическому портрету Софьи. Во время одной из своих последних встреч с Версиловым Аркадий, в частности, вспоминает: «...мамин портрет – фотография, снятая, конечно, за границей <...>. Я не знал и ничего не слыхал об этом портрете прежде, и что, главное, поразило меня – это необыкновенное в фотографии сходство, так сказать, духовное сходство, – одним словом, как будто это был настоящий портрет из руки художника, а не механический оттиск» (13: 369). Иконоборец Версилов благоговейно целует фотографию («снятую, конечно, за границей»); и при нашей последней встрече с ним, после разбивания иконы и грубой ссоры с

Катериной Николаевной, выздоровевший Версилов смотрит со слезами на фотографию Софы и покрывает ее поцелуями (13: 447). Несмотря на то, что объект поклонения существует во плоти, Версилов обращается к фотографической иконе как благотворному образу русской женщины, к которому он вернулся в безотчетной, детской вере и подчинении. Крах Версилова и его идеала русского дворянина как миротворца и космополита облегчает его сыну вступление в зрелость; и Аркадий, бегущий из порочного круга обид и негодования¹⁰, способен теперь воспринять противоречивость отца без осуждения. Такой развязкой романа Достоевский показал неоднозначность своей позиции в современной дискуссии о будущем лидерстве России: оно придет не от возрожденного поместного дворянства, но от нового класса, порожденного ценностями промышленности, образования и усердия. При всем своем недоверии к Петровским реформам, Достоевский все же принял те ценности, которые Петр желал внедрить в русское общество; и таким образом косвенно одобрил петровское видение России как современного европейского государства. В конце романа повествователь и автор объединяются в выражении веры в будущее России: «из подростков созидаются поколения...» (13: 455). Именно движение к зрелости, увиденное в жизни подростка, дает Достоевскому возможность верно поставить вопрос взаимоотношений России и Европы и позволяет ему – по крайней мере в художественном измерении – устраниТЬ агрессию неполноценности, которая наполняет большинство его публицистических сочинений на эту тему.

Авторизованный перевод с английского Б.В. Архипцева

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Впервые: *Brumfield William Craft. The West and Russia: Concepts of Inferiority in Dostoevsky's Adolescent // Russianness: Studies on a Nation's Identity*. New York, 1990.

2 *Wasiolek Edward. Dostoevsky: The Major Fiction*. Cambridge: The M.I.T. Press, 1964. P. 137.

3 По истории его отношений с Мещерским см. комментарии к «Дневнику писателя» 1873 г. (21: 359–370), а также: *Викторович В. А. Достоевский и В.П. Мещерский: К вопросу об ограничительстве писателя // Русская литература*. 1988. № 1. С. 205–216.

4 Данилевский Н. Россия и Европа. СПб., 1894. С. 20–21. Для изучения политических взглядов Данилевского см.: Robert E. MacMaster. Danilevsky: A Russian Totalitarian Philosopher. Cambridge: Harvard University Press, 1967.

5 Концепт «подразумеваемого критика» должен здесь быть добавлен к концептам «подразумеваемого читателя» (как у В. Изера) и «подразумеваемого автора» – особенно в «Подростке», где подразумеваемый критик формирует важную часть структуры неполноценности.

6 Hypolite Jean. Genèse et structure de la "Phénoménologie de l'esprit" de Hegel. Paris: Editions Montaigne, 1946. Р. 372. <Оба термина – «образование» и «отчуждение» – очень близки по значению. Через отчуждение своего естественного Я человек самоопределяется, перевоспитывается и вписывается в рамки общечеловеческих норм. Более того, по Гегелю, самообразование возможно лишь через осознанное отчуждение. Перевоспитание – не гармоничное развитие наподобие органического роста, а противоборство, состояние между надрывом и разрывом. – франц. >

7 Ibid. Р. 390. <В действительности речь – единственное духовное отчуждение Я, которое может решить проблему, поставленную нами... Я способно выразить себя, если оно обучаю мирам [это так и по мнению «комментатора» у Достоевского. – У.Б.]; оно воздействует на мир путем собственного исчезновения. – франц. >

8 Обзор деятельности группы содержится в работе: Venturi Franco. Roots of Revolution / Trans. Francis Haskell. New York: Grosset & Dunlap, 1966. Р. 496–501. О реакции Достоевского на задержание и суд над группой Долгушиной см. 17, 299–303.

9 Данилевский Н. Цит. соч. С. 92.

10 Ср. фундаментальную работу Макса Шелера об обиде: Über ressentiment und moralisches Werturteil (1912), – имеющуюся во множестве изданий; см.: L'Homme du ressentiment. Paris: Gallimard, 1970.